

После смерти поэта, особенно поэта большого, его стихи читаются по-другому. В них видишь то, что раньше не замечал, пропускал. Со стихами Александра Ибрагимова для меня именно так. Нет, не так — со стихами Саши. Лет тридцать назад мы с ним перешли на «ты», и это было естественно и свободно. Мне с тех пор трудно называть его по-другому — продолжая сегодня внутри себя недоговоренные, недоспоренные наши разговоры о поэзии, я иначе чем Саша не обращаюсь к нему.

Я перечитываю стихи Саши и нахожу то, что по невнимательности, по нелюбопытству прежде пропускал, не видел. Сейчас я с изумлением и чувством вины, что ли, вижу, что многое у него мне гораздо ближе, чем казалось раньше. Внимательно, пристрастно перечитывая двухтомник «Космоязычие», подаренный им сразу после выхода, в его любимых Журавлях, я обнаруживаю строки и целые строфы, которые я сам бы мог написать. Раньше я этого не чувствовал, не осознавал.

В молодости развиваешься и движешься вперед силами притяжения и отталкивания. Часто обе эти силы — из одного источника. Примерно так было с Сашиними стихами.

Для меня он навсегда останется автором книжечки «Буквы одуванчика», попавшей мне в руки, когда я только-только, лет в пятнадцать, сочинил первые беспомощные стишки, похожие, мне тогда казалось, на Вознесенского. Ничего вокруг не было подобного и близкого, казалось, хоть я старательно вчитывался в стихи кузбасских поэтов, все было не то. Не было — и вдруг оказалось, что есть. Есть поэт, который пишет что-то близкое, кардинально отличное от остальных. И это ощущение непохожести сильно помогало стихоплетствующему юнцу, служило поддержкой. Хотя тогда я по молодости и темноте вряд ли мог оценить и понять эти стихи по-настоящему. Сейчас, мне кажется, уже могу.

Саша действительно отличался от остальных местных поэтов, и не только стихами, но и поведением. Весной 85-го года в Новокузнецке, на областной студии «Притомье» для молодых писателей (случайно позвали, только что написал новых стихов, с которыми потом и поступил в Литинститут), Саша был единственным, кто за меня вступился, когда меня буквально размазывали и за книжность, и за метафоризм, и еще бог знает за что, не помню. Сегодня дико, какие страсти могут вызвать безобидные стишки про живопись и любовь, например. Видно, эстетическая чуждость подразумевала и идеологическую, и социальную, одна выпускница филфака даже назвала их фашистскими — до сих пор поражен. Что говорить про местных мэтров, поперек которым слова боялись сказать — иерархия и субординация, все молчали. Саша был

единственный, бросивший в лицо Махалову: «Валя, ты что, Папа Римский, чтобы тут судить и выносить приговоры — что поэзия, а что нет?»

Ибрагимов был вне всего этого, вне Союза писателей, иерархий, он был сам по себе, он был самодостаточен, он был независим — и мог себе позволить привилегию сказать правду. Я всегда был и до сих пор благодарен ему за ту поддержку. Мы тогда и познакомились. Да и просто за брошенные вскользь слова, которые часто что-то ставили на место в молодой пустопорожней голове. Например, как-то в ясный апрельский день во время прогулки по набережной я излишне восторженно стал читать Мандельштама: «На бледно-голубой эмали, какая мыслима в апреле...» — и закончил определением этих стихов как «роскошных». Саша с сомнением отреагировал: «Думаешь, это подходящий эпитет?»

Потом, с наступлением постсоветских времен, мы не совпадали буквально ни в чем. Мне его взгляды на жизнь и поэзию, как и его стихи, казались слишком возвышенными, слишком светлыми, что ли, если не сказать благодетельными — у меня самого мрачность и беспросветность зашкаливали в соответствии с ахматовскими словами, что главное — не терять отчаяния. Впрочем, с годами и расстоянием, после того как я уехал в Новосибирск, это стало не так важно по сравнению с главным. Сейчас я думаю, что Саша, может быть, был не так уж и не прав.

Главное — это то, что он любил поэзию. Любил по-настоящему, как мало кто. В нем было удивительное для меня приятие самых разных, казалось бы, взаимоисключающих поэзий и поэтик, для него Поэзия (именно так, с большой буквы) была общим храмом, хотя и мастерской тоже. А все поэты были ему братьями-мастерами, товарищами по цеху, он любил не только сами стихи, но и их авторов, живых и мертвых — от Ломоносова до Зульф리카рова, от Державина до Бродского. Это кажется утопией в мире, где поэты относятся друг к другу как теноры, ревнуют как женщины, дерутся за славу и призрачные почести.

Да, утопия. Но эту утопию он и пытался воплотить в самые непоэтические в нашей стране годы, в 90-е, создав студию «Аз» и собрав в ней если не всех, то, наверное, большинство на тот момент что-либо пишущих в Кемерове молодых людей. Студия и журнал «После 12» — это и был его Храм Поэзии. Храм, в который мог войти каждый, войти и служить и найти убежище от мира, в котором стихи не нужны. Храм, в котором ничье имя не будет забыто. Так же, как в своих стихах он помнит и называет по именам всех: Колю Колмогорова, Игоря Давлетшина, Макса Уколова, Руслана Сидорова, Михаила Орлова.

Сейчас и сам Саша там, где все они. Где Державин с ласточкой, Тарковский со сверчком и Хлебников с кузнечиком, где Мандельштам, Есенин, Бродский, Вознесенский и Евтушенко, где все-все-все. Он там, среди них, поэт Александр Ибрагимов.



Фото Владимира Воробьева

Молодой отец с другом у роддома № 1. Новокузнецк. 1981 г.